

МАРАТ  
ТАРАСОВ

«ЛИШЬ БЫ  
ДЕЛО ОСТАЛОСЬ —  
ТВОЕ И МОЕ»

СЛОВО О РОБЕРТЕ РОЖДЕСТВЕНСКОМ

Эти строчки Роберта Рождественского, обращенные к известной плакальщице Ирине Федосовой, взятые мной в заголовок воспоминаний, знаменательны для Роберта. Он – один из немногих современных поэтов, кто понимал прямую преемственную связь устной народной поэзии и современной письменной. Но об этом – позже, а сейчас...

«Меня часто спрашивают, как мы в далёком 1950 году познакомились и подружились с Робертом. Вот как об этом говорит он сам: «Хвалить друга, все равно, что хвалить самого себя – неприлично. Поэтому Марата Тарасова – а это именно о нем идет речь – я хвалить не буду. Просто хочу, для начала, вернуться лет на тридцать назад в свою молодость в город Петрозаводск, на первый курс историко-филологического факультета. Тогдашние ветераны студенческого общежития на улице Анохина, узнав о том, что я пробую писать стихи, сразу же сообщили мне: «А у нас в университете уже есть свой поэт... Марат Тарасов!..»

Заявление это прозвучало довольно внушительно, и, как я понял, сделано оно было, во-первых, для того, чтобы новичок не слишком зазнавался, а, во-вторых, для того, чтобы он заранее знал: стать в университете «своим поэтом» – дело далеко не простое!..

А с Маратом Тарасовым мы скоро познакомились. Вместе читали стихи на праздничных факультетских вечерах, вместе «печатались» в университетской стенной газете, а потом – тоже вместе – посещали городское литературное объединение, где строгий мудрый поэт Борис Шмидт учил нас видеть и понимать поэзию не только в великих книгах, но и в той будничной, трудной и беспокойной жизни, которая нас окружала.

Так вышло, что через год я переехал в Москву и стал студентом Литературного института имени А. М. Горького. А еще через год туда же – сразу на третий курс – поступил и Марат Тарасов. Мы снова оказались вместе в одном общежитии, даже – в одной комнате. И вот здесь уже подружились по-настоящему».

Упомянув несколькими строчками выше об университетской стенной газете, где появлялись наши стихи, слово «печатались» Роберт ставит в кавычки. А вот когда готовились публикации в настоящем литературно-художественном журнале «На рубеже», то здесь уже иронические кавычки были ни к чему. Но случился такой эпизод: меня попросил зайти в редакцию главный редактор Алексей Титов и сказал:

– Слушай, твой друг Роберт принёс цикл стихов – стихи не плохие. Но цикл называется «Негры песню поют». Какие негры? У нас в Карелии никто их в глаза не видывал. Чего он там навыдумывал! - Я объяснил, что последние годы Роберт жил в Австрии с родителями в качестве сына полка. Мать его была полевым хирургом, а отчим после взятия Вены был назначен комендантом одного из районов столицы Австрии, там были и американские войска, значительную часть которых составляли негры. Роберта поразили их

песни – так что он ничего не выдумал.

– А - а, тогда другое дело...

Даже не обращаясь к его стихам, а в простом общении с ним можно было почувствовать теплоту его характера, доверительность. В своей первой книжке он пишет о Маяковском, вроде бы чуть подражает ему. Но Роберт даже отдалённо не был «горланом, главарём». Да, в его строчках случались ораторские, боевые интонации. Но это были его собственные, а не заёмные.

Однажды мне пришлось участвовать в организации одного из первых платных его выступлений в доме культуры Онежского тракторного завода. Стихи он читал с подъемом, что называется, захватил аудиторию. Когда же я вошёл в комнату, где он был один и сидел в кресле, обхватив голову руками, я хотел что-то сказать, но он махнул рукой: погоди! Придя в себя, он объяснил:

– Знаешь, я, наверное, от природы непубличный человек, но коль назвался груздем, то полезай в кузов. - И действительно, я видел, что выступая, он каждый раз преодолевал себя - свою застенчивость, лёгкое заикание, эту свою непубличность. Время в шестидесятые годы требовало, чтобы поэты его возраста не только умели писать стихи, но и мастерски читать их в любой обстановке – в студенческой аудитории, в заводском цехе, на площади или даже на стадионе. Дух наступившей оттепели, расковавший души, звал выносить всё своё сокровенное на публику. Рождалась не только новая поэзия, но и новые читатели, желавшие слушать живое поэтическое слово.

Стеснительность его внешне проявлялась и в том, что когда он шёл сквозь приветствовавшую его толпу, то низко опускал голову, как бы боясь видеть восторженные взгляды. Помню, как однажды приехав в родной Петрозаводский университет, он, опустив голову, пытался пробиться вместе с ректором Михаилом Шумиловым сквозь битком набитое фойе в актовый зал. Но тщетно! И вот тут Роберт, подняв голову и смущённо улыбаясь, сказал: «Ребята, пропустите – ведь без меня выступление не состоится!» Студенты узнали его, засмеялись и потеснились.

Он никогда не хотел выпячиваться, выделяться и тем более в те моменты, когда пришел куда-нибудь отдохнуть, поговорить с товарищем. В разное время у него были разные отношения с Евгением Евтушенко – то они сближались, то отдалялись, но никогда не враждовали. И в одно из сближений договорились встретиться и поужинать в ресторане «Прага».

– Нам было, что обсудить. Только что были публично разоблачены репрессии «вождя народов». Звучащее слово молодых поэтов стало раскатываться эхом по всей стране – рассказывал Роберт, – среди этих голосов слышались и наши. Мы так увлеклись разговором,

что не сразу заметили, как за соседним столиком двое молодых людей, по виду студенты, о чем-то громко спорили, указывая в нашу сторону. Наконец, один из них подошел к нам и, обращаясь к моему соседу, спросил: «Ваши лица нам очень знакомы. Кто вы?» - Евгений ответил с интонацией, в которой звучало удивление: «Я – Евтушенко!» – парень растерялся, стал извиняться и говорить, что они с другом любят его стихи. И уже совсем потерянно спросил меня: «А вы кто?» Я почувствовал глупость ситуации и нехотя бухнул, кивнув на соседа: «А я его охраняю». Парень, глянув на мои – далеко не узкие плечи, мощную комплекцию, мрачный вид, стал испуганно пятиться к своему столику. Женя тут же накинулся на меня: «Хороши у тебя шутки! Теперь полетят по Москве слухи, что меня даже в ресторане охраняют от собственного народа!». Я возразил: «Ну, подумай, кто поверит этому, если ты открыто выступаешь на площадях и в громадных залах, с тобой свободно общается тысячи людей, выстраиваются целые очереди за автографом!». Мы оба засмеялись и ссоры не вышло.

А мама Роберта, Вера Павловна, с которой мы переписывались до последних ее дней, рассказала мне, как однажды Роберт с друзьями-поэтами шли по улице Герцена в Дом литераторов, где было организовано прощание с известным умершим композитором-песенником. Это было в разгар славы Роберта, когда каждый день по радио и на телевидении исполнялись его песни, громадными тиражами издавались его книги, по всей стране проходили его творческие встречи. На пути к Дому литераторов к нему то и дело подбегали поклонники, просили на каком-нибудь блокнотике или клочке бумаги дать автограф. Он отставал от товарищей и потом догонял их. Ему стало так неловко перед ними, что он, отстав в очередной раз, свернул во дворы на параллельную Поварскую улицу и пришел в Дом литераторов с противоположной стороны.

А теперь мне хочется хотя бы для контраста перенестись в более раннее время, вдохнуть чистого озерного воздуха Карелии, вернуться к истокам поэзии, когда мы с Робертом, начинающие поэты, сели на пароход и поплыли в глухой былинный Пудожский край. Если долгое время, хотя бы мысленно, не возвращаться к истокам, то трудно ждать и нового душевного всплеска. Расширяющиеся круги творческого освоения жизненного пространства ослабевают, теряют значение открытия поэтические, приобретая оттенок чисто географический. Но, главное, было бы к чему возвращаться. Пудож и Заонежье можно назвать родиной народной поэзии – былин, плачей, песен. Шагая налегке по священным дорогам, мы добрались до одной из самых глухих деревенок - Ниглижмы. Там нас привели в избу к 90-летнему старцу-былиннику. он был слеп, плохо слышал, но, уразумев нашу просьбу, с торопливой охотой стал сказывать былины. Забывал многие места, сбивался,

перескакивал с одной былины на другую и без пауз – видно боясь, что мы потеряем интерес, – продолжал на распев надтреснутым голосом, хрипло вдыхая воздух:

Говорит Святогор да во второй након:  
«Ты приходи опять к земле пониже-то,  
К моему-то ведь гробу поближе-то,  
Я ведь тебе еще силы поболе-то».

Мы сидели на лавке, сбитой из толстых сосновых плах, красное солнце било в низкие, на уровне валов, оконца, натертый голиком желтый пол был в солнечных багряных пятнах, и от верхнего среза окон до матицы потолка разливалась серая мгла вечера. И трудно было различать стукавшие на стене ходики, полку с деревянной ступой и пестом, трещины вдоль сердцевины тесаных бревен.

Мы попросили вертевшихся возле нас ребятишек пробежать по избам и собрать местных жителей в клуб – бывшую церковь. Через час в бывшей церкви уже было полно народу. Хотя еще светило солнце в церкви было темновато, тускло горели две керосиновые лампы, наши тени двигались по стене, на которой был когда-то иконостас. В первых рядах сидели старики с густыми бородами, могучие столбы подпирали невидимый потолок. Необычная обстановка будоражила. Нам казалось, что мы не просто читали стихи, а священнодействовали – как бы возвращали в новопретворенном виде этим людям живший здесь древний эпос. Наши голоса были его молодым эхом - так нам действительно казалось.

Из этой памятной поездки Роберт привез стихи не о былинных богатырях, а о худенькой девчушке, плывущей на пароходе в неизвестность, в городок, «еще смолою пахнувший», – жить, работать медицинской сестрой. Да и сам поэт вскоре, путешествуя, стал активно осваивать мир и географически и творчески. Теперь в его стихах был не только этот городок и Кижы, но и Индийский храм Тадж-Махал и многое другое. Но, главное, о каком бы далеком – во времени и пространстве – явлении или событии он ни писал, везде, прежде всего, присутствует он сам, его ирония, удивление, сочувствие, гнев.

С кладбища под Парижем, где похоронены участники русской гражданской и Первой мировой войн, он словно видит Юсову гору в деревне Кузаранда, где похоронена великая плакальщица Ирина Федосова. На прямых асфальтовых туристских дорогах всего мира он вспоминает извилистые тропинки и «долгие росстаны Заонежья». И сердцем проникает в тонкости народной поэзии, изучая приемы устной поэтики. Недаром во всех его книгах постоянно живет чувство, выраженное еще в эпосе «Калевала»: «Дома выпьешь из следа - вкусной кажется вода, горек мед земли чужой, даже в чаше золотой». Наверное, то чувство и

заставляет постоянно возвращаться к началу – к истокам слова, любви, жизни. Заставляет каждый раз ощущать себя первооткрывателем родных лесов, широких московских площадей и далекого алтайского села Косиха. И, пускай редко, в основном в песнях, создает образцы народного искусства. Поэтому, обращаясь к знаменитой плакальщице, имеет право сказать:

«Лишь бы песня  
Осталась,  
Лишь бы дело  
Осталось,  
Твое и мое».

Он, навряд ли сам знал, когда это дело стало главным в его жизни. Но, приглядываясь к нему, я видел, что почувствовал он это рано – наверное, когда, будучи школьником, опубликовал свои первые строки в питерской детской газете. Как-то его товарищ по сборной волейбольной команде Петрозаводского университета и по сборной Карельской республики рассказал мне, что однажды на спортивные сборы в Днепропетровске съехались многие команды страны: «Приехала и Всесоюзная сборная во главе с легендарным нападающим Ревой. Мы с Робертом пошли на игру с одной из сильных провинциальных команд. Когда, взлетая над сеткой, Рева вбивал мяч под прямым углом в пол, зал взрывался от восторга. После игры, когда мы шли по городу, – рассказывал Володя Слюсарев, – я под впечатлением от игры спросил Роберта, хотел ли бы он стать таким, как Рева. И с удивлением услышал будничное, явно давно решенное: – нет, я буду поэтом... В нашей сборной, университетской и республиканской, у него была кличка «Папа». Почему – я не знаю. По возрасту он был, пожалуй, самым молодым в команде. Но, может быть, потому, что был выше всех ростом – под два метра. И уж точно массивней всех, его грудная клетка была несоразмерно широкой. Каждый раз, когда мы проходили медосмотр, то врачи, измерявшие объем его легких, удивленно ахали: «Не может быть!». Измеряли еще раз. Все правильно – за шесть литров, почти вдвое больше, чем у каждого из нас!» Когда Володя Слюсарев рассказывал мне это, то я с улыбкой подумал, что Роберт и впрямь старался вдохнуть в себя как можно больше воздуха этого мира, вобрать в грудную клетку все, что видит вокруг, чтобы потом вложить в свои строчки.

Если во всем, что касалось будущей профессии, он был тверд, зато в житейской сфере подчас был по-детски наивен. Девятнадцатилетний парень, несколько лет проживший с родителями за границей среди военных, жизнь которых была четко определена воинским уставом, он представления не имел о человеческом коварстве, о жизненных хитростях.

На первом курсе Петрозаводского университета, где он учился, появилась девушка – ее



звали Лена. Она приехала из Питера, где, возможно, не прошла по конкурсу, а в наш ВУЗ ее приняли. Юношеская влюбленность, вечерние прогулки по городу, чтение стихов. Но хорошо зная его, я видел, что он и думать не думал о женитьбе. Я уже говорил, что в нем было еще много детского и наивного – именно это и сыграло вскоре роковую роль. Лена предложила ему на каникулы поехать в Питер, походить по музеям и театрам. И однажды, гуляя, она сказала, указывая на дом: «Вот здесь я живу, давай зайдем». Он что-то почувствовав, робко пытался отказаться: «Может, к тебе – потом?». Но она настояла. Войдя в квартиру, сказала: «Знакомься! Это - мама». Его приход был началом плана его «охмурения» опытной и энергичной мамы невесты. Я рассказываю так подробно потому, что все это описано самим Робертом в его поэме «Моя любовь», к изданию которой отдельной книгой потом я имел прямое отношение. А публикация поэмы о своей жизненной ошибке в журнале «Октябрь» обернулась в то же время и главной победой в его творчестве. О его поэзии заговорили. А что касается личной жизни, то он и одуматься не успел, как услышал реплику матери невесты: «До скорой встречи, зятек!». И вскоре оказался за свадебным столом. Его родители не приехали и с его стороны на свадьбе оказались лишь двое его близких друзей – я и Володя Морозов. В маленьком отступлении скажу несколько слов о своем товарище. Недавно в одной из своих статей Евгений Евтушенко написал о нем: «Когда мы учились в Литературном институте, самым талантливым среди нас был Владимир Морозов». К сожалению, он вскоре трагически погиб, не успев по-настоящему творчески раскрыться. Это был веселый, доброжелательный человек с явными артистическими наклонностями»!»

Об этом я упомянул потому, что когда мы сели за громадный круглый свадебный стол, напротив жениха и невесты, то глянув на содержимое стола, Володя изобразил на своем лице такой ужас, что я невольно рассмеялся. Подобное изобилие мы с ним за всю жизнь видели разве что в кино: поросенок с зажатым во рту листом салата, гусятина и разные другие виды мяса, салаты, тропические фрукты. Вокруг стола суетились женщины – официантки, но к нам не подходили, словно тут нас и не было. А сами мы подступиться к этому изобилию просто боялись. Но выиграло в нас и чувство гордости: что же мы, студенты единственного в мире Литературного института, ничего не стоим? Разозлились и на своего друга – позвал на свадьбу, а держит голодными. И тут в душе Володи проснулся артист. Он скорее в шутку, чем всерьез стал показывать гримасами и жестами Роберту через стол, что, мол, уж, коль позвал, то прикажи накормить. Роберт бледнел, краснел, и мы видели, что он здесь и сам чужой: люди, сидевшие вокруг нас, были из другого мира. Это были, как и родители невесты, работники торговли, знающие себе цену и шикарно одетые. А Володя в своей желтой потертой куртке с двумя оторванными пуговицами и я в потрепанном коричневом свитере – мы для них были никем.

Тут мы поняли, что для Роберта это была не свадьба, а мышеловка и он из нее скоро вырвется. Так и случилось – он уехал в Москву продолжать учебу вместе с нами в Литературном институте, мы одно время жили даже вместе в одной комнате общежития на бывшей даче писателя Панферова. И вот однажды секретарь директора института вызвала меня прямо с лекции, как самого старшего из студентов карельской диаспоры и передала мне повестку, которая требовала Роберта явиться в милицию. И добавила сочувственно: «Возьмите Морозова и сходите втроем». Наш институт был маленький, всего 150 студентов и работники администрации хорошо знали каждого из нас.

Я вызвал с лекций Володю, потом Роберта, он взял повестку, прочел и лицо его стало по-детски растерянным, я впервые увидел его таким. Он дрогнувшим голосом с просящей интонацией тихо сказал: «Ребята, не бросайте меня». Мы пошли на Малую Бронную, где располагалась милиция. Начальник спросил: «Кто из вас Рождественский?». Мы кивнули на Роберта. Разговор их был коротким:

-Вы женаты? Жена живет в Ленинграде?

-Да.

-Так вот она сегодня бросилась под колеса электрички в метро в Москве.

Что почувствовали в этот миг мы, а особенно Роберт, словами не передать. И вдруг после паузы подполковник с улыбкой сказал:

-Да ничего страшного: прыжок был рассчитан так, что машинист имел возможность даже дважды затормозить. - И обратился к Роберту:

-Жена твоя жива и здорова, поезжай к ней - ее в психушку отвезли. И

дал адрес.

Мы поехали туда, Роберт зашел к ней в палату, вскоре вернулся и сказал: «Мы разводимся».

Этот результат нас не удивил: он был предрешен разницей взглядов на все. Кроме того - и это главное – мы уже знали строчки, обращенные Робертом к нашей однокашнице по Литинституту Алле Киреевой, красивой девушке, будущему литературному критику с таким безупречным литературным вкусом, что ее, студентку, включали в приемные комиссии, чтобы оценивать творчество абитуриентов при поступлении в институт. Строчки были такие:

Приходить к тебе, чтоб снова

Просто вслушиваться в голос

И сидеть на стуле, сгорбясь,

И не говорить ни слова.



Знали об их любви все студенты нашего маленького института. А вот чего они не знали, так это интереса Роберта к немодному уже тогда народному творчеству. Время, когда фольклор по настоянию Максима Горького даже изучали в школах, давно прошло - в институте будущие писатели относились к нему со снисходительной улыбкой. Зато в Союзе писателей Карелии, куда вскоре был принят и Роберт, состояли живые былинники и рунопевцы: Петр Рябинин-Андреев, Фекла Быкова, Анисия Ватчиева, Мария Михеева, Татьяна Пертту и другие. Мы, молодые поэты, свободно общались с ними, слушали их руны, былины и плачи и кожей чувствовали кровную связь устной народной и сегодняшней письменной поэзии. Мы знали, что традиция читать стихи перед разными аудиториями чисто русская, она берет свое начало из фольклора - от звучания былин в деревенских горницах, от плачей на свадьбах и похоронах. Так устроен русский человек, а особенно поэт, что он не может не делиться своими чувствами не только с близкими людьми, но и с целыми залами, площадями и стадионами! Такое - было.

Начав писать и печататься в Карелии, родине рун, былин и песен, издав здесь две первые книги, Роберт не мог не проникнуться духом народной поэзии. И хотя сам был по стилю ультрасовременным, но когда, пусть редко, обращался к народной поэзии, то и здесь он чувствовал себя на родных хлебах. Я не могу не привести хотя бы одну его песню, чтобы понять, насколько ему близка народная поэтика, как он тонко чувствует и ее. Вот его песня «Сладка ягода»:

Сладка ягода в лес поманит,  
Щедрой спелостью удивит.  
Сладка ягода одурманит,  
Горька ягода отрезвит.

Ой, крута судьба, словно горка,  
Доняла она, извела.  
Сладкой ягоды только горстка,  
Горькой ягоды два ведра.

Я не ведаю, что со мною.  
Отчего она так растет -  
Сладка ягода лишь весною,  
Горька ягода - круглый год.

Над бедой моей ты посмейся,

Погляди мне вслед из окна.  
Сладку ягоду рвали вместе.  
Горьку ягоду я одна.

Авторы многих сегодняшних песен считаю, что чем прямее и громче заявляют о любви, тем эта любовь сильнее. А вот в этой песне о любви ни слова не сказано прямо, а только обиняками. Однако именно это народное целомудрие, эта деликатность и достают до самого сердца. Автор показал не только знание народной поэтики, но и знание души русской женщины. Нет здесь ни одного лишнего или фальшивого слова, здесь каждая запятая играет свою роль. Я бы не сказал, что эта песня написана не в народном плане, – она и по сути народная. А этого можно достичь, только когда любишь народное искусство и его носителей.

Трагический смысл этой песни невольно заставляет вспомнить великую плакальщицу Ирину Андреевну Федосову, которой Роберт посвятил стихотворение «На Юсовой горе». И важно, что помог еще увековечить и ее память в самом прямом смысле слова. Вот как это было: я долго искал место ее захоронения, хотя, говоря прямо, должен был это делать не я, а ученые мужи, которые на ее творчестве защитили свои диссертации и стали кандидатами и докторами наук. В Карелии средств на создание и установку памятника-надгробия не нашлось. Я попросил Роберта найти эти средства. Он тогда только что был назначен председателем Литературного Фонда СССР. Эта организация была очень богатой, она жила на проценты от издания всех книг советских писателей и, если не ошибаюсь, от изданий классики. Фонд строил жилые дома для писателей, дома творчества и ставил памятники умершим литераторам. Роберт с охотой согласился помочь. И когда вопрос был решен, с улыбкой рассказал мне подробности заседания Фонда по этому поводу:

– Когда собрались члены правления, я доложил, что к нам обратился ответственный секретарь Союза писателей Карелии с просьбой о выделении средств на памятник плакальщице Ирине Федосовой, место захоронения которой только что найдено.

Поднялся с места член правления, молодой, но уже широко известный поэт (не буду называть его имени). Он заявил, что по уставу Фонда мы имеем право выделять деньги на памятники только членам Союза писателей. Я с детской наивностью заметил, что когда в 1899 году во пленница померла, Союза Советских писателей еще не было. И краем глаза увидел, что пожилые писатели, ожидая чего-то, стали улыбаться. А вот Литературный Фонд, – сказал я, – был образован в 1857 году при участии Толстого, Достоевского и Некрасова. В их библиотеках был трехтомник плачей Ирины Федосовой, изданный Елпидихором Барсовым. И каждый из них по-своему почитал старую во пленницу. А великий Некрасов по одному из ее плачей написал свою знаменитую балладу «Орина – мать солдатская», которую все мы

учили наизусть в школе. В советское время Владимир Ленин начал создавать Красную Армию и задался, прежде всего, вопросом, почему рекруты, в массе своей, не хотели идти в царскую армию. И горе их матерей ярче всех выразила в своих завоенных плачах Ирина Федосова. И эти ее плачи Ленин не просто прочитал, но и изучал, чтобы в новую – Красную Армию – с охотой пришли деревенские парни. И добился своего, потому что в армии их учили читать и писать, умению обращаться с техникой. Рассказав это, – продолжал Роберт, – я не упустил возможности подчеркнуть, что на Всероссийской Нижегородской ярмарке, где Ирина Андреевна исполняла свои плачи, с ней близко познакомились молодые тогда Федор Шаляпин и Максим Горький. Слушая ее плачи, они были буквально потрясены. Впоследствии создатель нашего с вами Союза советских писателей А.М. Горький назвал ее «великой народной поэтессой». Он имел в виду то, что если тексты былин передавались из поколения в поколение с небольшими изменениями, но в традиционном виде, то плачи Ирина Андреевна, как и все вопленицы, импровизировала, сочиняя их на глазах участников свадьбы или похорон. А Федор Шаляпин однажды сказал, что именно Федосова научила его петь русские оперы. И в своих воспоминаниях, изданных в Париже, посвятил ей немало прочувствованных строк. Надо ли говорить, – заключил Роберт, – что собрание писателей проголосовало единогласно.

На присланные Робертом деньги Кондопожский Камнеобрабатывающий комбинат сделал памятник. Правда, главный инженер комбината потом жаловался, что ему пришлось затупить три пилы, поскольку итальянские пилы привыкли к мягкому мрамору, а прочный и красивый шальский гранит был этим пилам не по зубам. Я был недавно в деревни Кузаранда на Юсовой горе и видел снова на вершине горы двухметровый высоты памятник над ширью Онего. К нему и нынче не зарастает народная тропа.

И Роберту в Петрозаводске, где он родился, как поэт, выпустил две первые книги, стал членом Союза писателей, недавно мы поставили памятный знак у въезда в новый студенческий городок Университета, в котором он учился и возле улица его имени. Знак представляет из себя восьмитонную глыбу габродиабаза, только лицевая часть ее обработана, а остальные стороны остались такими, как были в природе – со сколами и выемками, трещинками и выпуклостями. Видно, что камень прожил немалую и непростую жизнь, как и сам поэт.

Но важнее любого монумента живая человеческая любовь – такая, какой она обернулась недавно в нашей филармонии, где московские солисты исполняли песни Роберта.

Когда зазвучала «Баллада о красках», где сыновья возвращаются с войны к матери живыми, но седыми, услышал за спиной всхлипывания, обернулся: пожилые женщины плакали. Когда концерт кончился, то впервые в жизни я увидел, что большинство зрителей не разошлось, а

вышло в фойе. Люди стали читать на память стихи Роберта. Это был второй, уже импровизированный, стихийный концерт, но не музыкальный, а поэтический. Не артистов, а зрителей. И потом они понесли цветы к мемориальной доске на доме, где когда-то Роберт жил с родителями, благо этот дом был рядом с филармонией. Меня поразило, что пожилые женщины, явно пережившие войну, стали кланяться ему по-русски в пояс. Что может быть дороже вот так выраженной любви – какой-то очень домашней, человеческой...

И я подумал, что многие его человеческие черты и взгляды, нашедшие отзвук в его песнях и стихах – от его мамы, Веры Павловны, которую я хорошо знал, и до скончания ее дней переписывался. Она уже после ухода Роберта прислала мне свои воспоминания о войне, которую прошла от первого до последнего дня. Она была удивительно неординарный человек. Я бы определил главное в ее духовном облике так: суровая доброта. И обостренное чувство правды. А познакомился я с ней так: однажды Роберт, с которым мы вместе учились в Петрозаводском университете и были дружны, пригласил меня домой. Уже в прихожей я почувствовал запах обеда и хотел повернуть назад. Но мама Роберта, открывшая нам дверь, острым глазом бывалой фронтовички уловила мое движение и стала быстро снимать мой бушлат, присланный братом с Северного флота. Я оказался в своем рваненьком свитере, из широкого ворота которого торчали шерстяные нити. Надо сказать, что тема еды еще с лет войны, когда мы с братом опухли с голода, была для меня болезненной. Мы были эвакуированы в Вологодскую глушь, где мама работала в госпитале. И мой братишка с котелком нередко слонялся у госпитальной кухни в надежде, что повариха его пожалеет и плеснет в котелок черпак супа. Но это почти никогда не случалось. Я смотрел из окна дома на попрошайничество брата, но так хотелось есть, что голод глушил чувство стыда. С той поры я инстинктивно старался ни к кому не заходить домой в обеденное время, потому что приглашение к столу мне казалось унижительным. Но, видимо, чутьем уловив мою неловкость, Вера Павловна вдруг нарочито грубым голосом скомандовала:

– В нашем доме принято не просить, а командовать. - И бесцеремонно обратилась ко мне:

– Немедленно мой руки и садись обедать. – Со мной в таком тоне никто никогда не говорил, я растерялся и покорно выполнил приказ. Видимо, в ее грозных интонациях я почувствовал такую материнскую доброту, что и потом в этом доме я всегда чувствовал себя своим.

И когда перед самым уходом из жизни Вера Павловна прислала мне воспоминания о сыне и о войне, то сверху уже неровным старческим почерком приписала: «Марату – лучшему другу Роберта. Мама Вера». Вот это «мама Вера» – было для меня дороже всего, потому что для всех нас, любивших Роберта, она действительно была матерью.

Помню, как на мое пятидесятилетие она приехала в Карелию во главе все своей большой семьи. Она попросила меня организовать ей встречу с врачами и медсестрами поликлиники №1 в Петрозаводске, где она после войны долго работала глазным врачом. И на моих глазах произошло чудо: такого чувства единения, столько слез и смеха я не видел за всю жизнь. Тогда еще продолжали работать в поликлинике медсестры, санитарки и врачи, прошедшие войну: поэтому много вспоминалось военных эпизодов – в основном, почему-то забавных – временами вспыхивал хохот, а порою появлялись и слезы на глазах, слышалось всхлипывание. Для нас с Робертом, принадлежавших к поколению «детей войны», все это было понятно и близко.

А еще раньше, будучи малосмышленным студентом, я как-то по наивности спросил Веру Павловну – почему она, прошедшая войну полевым хирургом, стала потом работать в поликлинике глазным врачом. Она остро, оценивающим взглядом посмотрела на меня и замедлила с ответом. Уже позднее я понял смысл этого затянувшегося молчания: она решала говорить или не говорить правду восемнадцатилетнему пацану. И, видимо, вспомнив, что мы еще мальчишками потеряли на войне своих отцов и старших братьев, решила:

– Знаешь, Маратик, после трех лет войны мне стали сниться по ночам потоки крови. Ведь когда из палаточных операционных санитары ежечасно выплескивали в овраги тазы и ведра крови, а ампутированные черные гангренозные конечности зарывали в землю, мне в какой-то момент стало не по себе, поняла: больше не могу! Но фронт не бросишь. И сказала себе: как только кончится война, переквалифицируюсь – стану, к примеру, окулистом: капельки в глаза, буквы алфавита разного калибра, дальнорукость, близорукость. И вот, как видишь, так и получилось. – И горько усмехнулась – мечты сбываются ...

Когда с моего юбилея семья решила заехать в Питер, то я обрадовался возможности показать им красивейшую приладожскую часть Карелии. В последнем перед Питером карельском городке была военно-морская база, и моряки захотели показать свое хозяйство гостям. Командир части капитан первого ранга предложил нам рассмотреть изнутри подводную лодку. И с улыбкой заметил: «Конечно, Веру Павловну по причине возраста и комплекции не приглашаю это сделать». Но она не на шутку возмутилась: «Это почему же? Плохо вы знаете фронтовиков!» – И первой полезла в люк лодки и потом сквозь люки отсеков, расспрашивала офицеров и матросов о торпедных аппаратах, о разных приборах. Эта ее настырность и дотошность явно нравилась экипажу лодки – ребята улыбались. Именно здесь я и понял, что только такой человек, за месяц до войны получивший диплом врача и имевший малолетнего сына, и поэтому обладавшего правом не 'идти на фронт, все-таки туда отправилась, оставив ребенка на руках у матери. Что она в этот момент переживала, знала только она сама. И когда Роберт в стихотворении «Сын Веры» писал, что

именно она внушила ему эту веру «в молчание перед пыткой и в песнь перед расстрелом», – это не кажется велеречивым. Потому что в этой женщине совмещалась невероятная суровость и высочайшая доброта. Роберт писал, обращаясь к матери:

«Этот мир не от солнца такой  
золотой,  
Он заполнен до края твоей  
добротой».

Она могла прямо в глаза сказать человеку все, что о нем думает. Ее профессия хирурга обязывала смотреть правде в глаза – именно это помогало спасти тысячи жизней. Роберт никогда в глаза, а тем более за глаза, не говорил никому ничего подобного. Но мы-то, его ближайшие друзья, понимали, что он знал цену каждому человеку. Но до времени хранил ее при себе. А вот доброты своей никогда не скрывал и, не ожидая, просьб о помощи, помогал сотням людей. При внешнем различии поступков матери и сына, во внутреннем стремлении творить добро и быть верным правде они были одинаковы. Только делали это, в силу разницы их профессий, по-разному. Поэтому, завершая свои воспоминания, мне захотелось соединить их образы, как они и были неразделимы при жизни.

г. Петрозаводск

*Марат Тарасов*